

И. БУРДО

Шопенгауэр в переписке с друзьями ¹

В августе 1884 года, во Франкфурте-на-Майне, учрежден международный комитет, на обязанности которого лежит устройство и постройка памятника Шопенгауэру, по случаю исполняющегося 22 февраля 1888 г. столетия со дня его рождения.

Таким образом, предсказание его, обращенное к самому себе:

«Мир воздвигнет мне памятник!»
наконец исполняется в действительности.

Проект памятника будет предложен на конкурс художникам всего мира. Один из инициаторов этого дела, профессор Ноарэ, в адресованном газете «Times» письме, высказал свое мнение по поводу того, что собственно должен изображать собою этот монумент. Сам Шопенгауэр держался мнения, что мыслителю более всего приличествует бюст, «так как такой человек служит человечеству головой, а не руками». Поэтому лучшим памятником Шопенгауэру был бы колоссальный бюст, поставленный в уединенном и тенистом месте города Франкфурта, его любимом местопребывании. На сторонах высокого пьедестала следовало бы выгравировать, в образе символических фигур, Философию Индии, Мудрость Вед — с одной, и Западную Мысль — с другой, тесно соединенные Шопенгауэром, в качестве родных, сестер, в его знаменитой системе.

В свою очередь, Макс Мюллер, таким же письмом, выражал уверенность, что призыв Ноаре будет встречен в Англии сочувственно. В то же время, *leading article* в «Times»² спешил напомнить соотечественникам о том высоком чувстве уважения, с которым Шопенгауэр всегда относился к особенностям характера английской нации. В самом деле, начало его репутации было положено в этой стране даже прежде, чем соотечественники философа узнали его имя. Германское общество, употребляющее во всяком вопросе слишком много времени на обдумывание и размышление, для оценки Шопенгауэра употребило слишком 30 лет!

Мы не считаем лишним и с своей стороны напомнить, что гений французского народа (в особенности писатели XVIII века и физиологи XIX века) не редко вдохновлял Шопенгауэра. Германии он принадлежит только по своему языку и частью по своей метафизике. Он часто повторял: «германское отечество не сделало из меня патриота». Во введении к своей студенческой диссертации он объяснил причину своего нежелания поступить на службу в 1813 году: *Patriamque mihi Germania esse majorem*.

Впрочем, даже самая подозрительная щекотливость некоторых наций не могла помешать великим людям всех стран откликнуться на такой призыв Ноарэ. Представителем Франции в международном комитете будет Э. Ренан, Индии — райя Рампаль-Синг. Такое сопоставление является наиболее лестным для философа, истинным отечеством которого должны бы считаться скорее берега священного Ганга, чем туманной местности Майна и Ширее. Но, по меткому выражению глубокого скептика Жаксмона, абсурды и в Бенаресе, и в Германии имеют родственное сходство между собою.

Момент для постройке памятника Шопенгауэру выбран весьма удачно, тем более, что, как он уже и сам предвидел, его философии приходится, по-видимому, пользоваться

¹ Переписка Шопенгауэра с Августом Беккером. Лейпциг 1883.

² «Times», 9 октября 1883 г.

недолгим временем торжества «того краткого праздничного времени между двумя большими периодами, когда она будет отвергнута, как парадокс, или же попадет в разряд тавтологий. Из этого, конечно, еще не следует, чтобы его система угрожала возможностью стать когда-либо популярной». Шопенгауэра не поражал факт жадного поглощения современным ему обществом произведений вроде Мемуаров Лолы Монтез, в то время, когда его мир, как воля и как представление, не возбуждало внимания публики. Это произведение, по словам автора, требует для ясного понимания изложенных в нем истин, предварительной подготовки: глубокого знакомства с философией Канта, продолжительного размышления и изучения божественного Платона, близкого знакомства с священными книгами и античной мудростью Индии, и наконец, после такого колоссального труда, внимательного и обстоятельного чтения его книги не менее двух раз. С не меньшей проницательностью и горечью он замечает, что «не одному из его читателей придет праздное желание преподнести своей ученой подруге его произведение в шагреновом переплете», или же, что еще печальные, он вздумает «критиковать это произведение». Самыми популярными в произведении Шопенгауэра страницами сделались те, которые посвящены морали (этике), глубокому рассуждению о метафизике любви, яз

выводам, проходящим красной ниткой через все его сочинения. Мода, впрочем, и здесь получила свою дань, как никогда по отношению к Байрону и байронизму: здесь замечается нередко тот же дилетантизм мировой скорби, известного рода метафизическое отвращение к жизни и платоническое отречение от иллюзий любви — и все это зачастую на лицах, сияющих свежестью и молодостью. Имя Шопенгауэра у всех на устах; его комментируют с кафедр философии, его цитируют в салонах.

Литература, посвященная его личности и сочинениям, увеличивается с каждым годом, с каждым месяцем. Недавно изданная корреспонденция его с Августом Беккером читается в Германии с большим интересом.

Эта небольшая книжка представляет нам случай обратить снова внимание общества на известную нам давно личность, одну из оригинальнейших в истории философии. По поводу столь распространенного ныне пессимизма, мы желали бы указать на глубокую искренность этого направления у его основателя, на извлеченные им из этого учения практические выводы и на замечательные контрасты, представляемые в этом отношении его доктриной — с одной стороны, и его судьбою — с другой.

I

Вечный, никогда не прекращающийся спор между оптимизмом и пессимизмом, давали, впрочем, нам столько прекрасных страниц и в прозаической, и в стихотворной форме, не может быть решен иначе, как только с оружием в руках на поле битвы, ибо, в действительности, вопрос является неразрешимым, и спор прекратится вместе с прекращением рода человеческого. Маудсли, в своей патологии ума, положительно утверждает, что оба эти направления в развитии человеческого мирозерцания находятся в зависимости от темперамента; другими словами, здесь повторяется старая история «о вкусах». Соответственно изменяющемуся настроению нашего духа, изменяется в нашем представлении и окраска одних и тех же явлений, предметов в светлый или темный тон; изменение же настроения духа зависит, главнейшим образом, от нашего внутреннего строя. Один при взгляде на усеянное звездами небо, на безбрежное море, на недостижимые, покрытые вечным снегом вершины гор, невольно проникается чувством собственного ничтожества, существа, затерянного в бесконечности, и мыслью об отношении между обширностью своих желаний и границами своей судьбы; объятый чувством скорби, печали и необъяснимого страха, он восклицает: «Вечный покой этого необъятного бесконечного пространства наводит ужас!» Он смотрит на жизнь, как на стремительный поток между могил и развалин, извергаемый небесами во время грозы. Другой, наблюдая то же зрелище, спокойно курит трубку, мечтая о своих делах или развлечениях. В прекрасное майское утро

прохожий срывает спокойно цветок для того, чтобы украсить им свою петлицу, между тем как поэт, при той же обстановке, не может удержаться от вздоха: «Когда смотришь на ранний розовый бутон; невольно останавливаешься на мысли, как скоро он распустится в скорбную багряницу, побледнеет, высохнет и рассыплется от дуновения ветерка: повсюду видишь замаскированную зиму». Точно такое же разнообразие вкусов и влияние настроений духа по отношению «ближних»: в то время как одни употребляют свои силы и способности на указание неизбежных поводов и причин ненависти к человеку, другие — отдаются беззаветно любви и уважению к нему. Первые изощряются в отыскании даже у лучших людей слабостей и смешных сторон, вторые же, по большей части добродушные оптимисты, стремятся отметить, включительно до презреннейших представителей человеческого рода, облагораживающие и возвышающие их черты. Такие противоположные чувства, представления и мысли встречаются в каждом из нас и в период молодости, окрашивающей будущее в розовый цвет, и в период согбенной под тяжестью пережитого, или под бременем лет старости, бросающей вокруг себя, ввиду приближающейся смерти, мрачные взгляды.

Таким образом, под влиянием возраста и времени, состояния нашей желчи, циркуляции крови, атмосферы и погоды, под влиянием пищи, питья, отношений к людям, деятельности во внешнем мире, или полной сосредоточенности в самих себе — вселенная и все нас окружающее окрашивается в нашем представлении то в темные, то в светлые цвета, между тем как они, в действительности, остаются неизменными: изменяемся, собственно, мы.

Умственные наклонности, психические особенности вызывают в нас стремление к тому, либо другому полюсу оптимизма и пессимизма. Систематические умы, склонные к отвлечению, к обобщениям, пораженные движением человечества вообще и результатами, добытыми наукой в теории и в ее приложениях, возводят человека на степень божества, а теорию прогресса — на степень религии; тем же, напротив, кто никогда не теряет из виду повседневную, перед глазами переходящую действительность, кто внимательно следит не за общими явлениями, а за деталями, кто наблюдает не человека вообще, а людей, и при том каждого из них в частности, кто видит всю неспособность этого жалкого создания поддержать в себе даже удовлетворительное состояние духа и в разнообразии времен и обстоятельств освободиться от одних и тех же печалей, страстей и немощей, — для тех разрушение, смерть, наравне с юностью и расцветом жизни, представляются как бы железными законами природы, непреложными в своем бесконечно-разнообразном приложении.

Такое именно двустороннее расположение к пессимизму, порожденное, воспитанное и развитое размышлением и всеми дарами высшего ума, мы находим у Шопенгауэра. В нем были задатки наследственного умопомешательства: многие из его родственников по восходящей линии умерли в состоянии сумасшествия, а отец его лишил себя жизни в припадке меланхолии. С ранней юности питаемая им антипатия к своей матери, женщине с неиссякаемой энергией, остроумной и веселой салонной даме, крайней оптимистке по природе, на все глядевшей с казовой стороны, всё объяснявшей в хорошую сторону, эта антипатия вызывалась, главным образом, контрастами в их характерах. Иоганна постоянно упрекала сына за его вечные жалобы и сетования на неизбежное зло. Подозрительный, раздражительный и мрачный, под влиянием безотчетной тоски, беспричинного страха, Шопенгауэр нередко воображал, что скоро умрет.

Время его юности совпало с периодом событий, дававшим наиболее пищи зарождавшемуся в нем пессимизму. Он родился накануне французской революции, 22 февраля 1788 года. Мир погибал, погружаясь в кровавую бездну. За этим разрушением последовала организованная резня, бойня высшей школы, управляемая искусной рукой первого тактика в мире. Робеспьера и Бонапарта он считал бичами человечества, убийцами, но не ставил их ниже других людей, признавая, что у каждого из них есть достаточный запас злобы и яду, всегда наготове содержимое жало, только не имеющие таких удобных случаев и такой силы для своего проявления.

С детства еще он изъездил с родителями почти всю Европу и вскоре покрыл свои рукописи заметками — плодами печальных размышлений. Проезжая на почтовых по дорогам, проложенным среди цветущих полей и между сел с живописными, веселыми окрестностями, Шопенгауэр, при встрече с жалкой избушкой и ее обедневшим обитателем, мгновенно забывал о только что полученных им приятных впечатлениях. Это зрелище отравляло ему всякое удовольствие. Во время посещения им в 1804 году Лиона, бывшего театром всех ужасов и жестокостей междоусобия, он не встретил ни одного человека, который не оплакивал бы кого-либо из своих близких. В Тулоне ему пришлось увидеть вблизи галеры тысячи каторжников. Всюду, в больших городах он встречал разнообразные притоны разврата и преступления, вызывавшие в нем мучительное чувство страдания, посещал дома умалишенных, и ему часто казалось, что он слышит у самых дверей госпиталей раздирающие душу крики больных и стоны умирающих. Встречаемые на улицах клячи, падавшие под тяжестью ноши и ударами бича, вихрем пронесившиеся блестящие экипажи мимо снесаемых завистью, погибающих в нищете, безумная роскошь с одной и отчаянная нищета с другой — все это наводило его на мысль о народе-пролетариате, заключенном в тесные рамки убийственной жизни и обреченном на труд домашнего скота. Набожные дамы, выходявшие после проповеди из церкви с опущенными глазами, разгоревшимися щеками, направляли его мысль в сторону многочисленных служителей алтаря, необходимых на Западе для охранения достоинства брака и чистоты домашнего очага. А журналы и газеты, между тем, ежедневно сообщали ему известия о происшествиях, из которых он заключал, что не проходит дня, часа, минуты, даже секунды, когда бы в каком-либо месте, обитаемом на земном шаре, не было страданий, бесчисленных несправедливостей, краж, разорений, пожаров, грабежей, наводнений, казней, войн и, вообще, всяких язв, производящих опустошения и страдания.

Можно ли, по крайней мере, успокоиться на мысли, считая достоверным, что религия с высоким христианским нравственным началом произвела существенное улучшение нравственной стороны человека? Сколько, однако, жестокостей было совершено, сколько крови пролито во имя принципов этой религии. Роковым образом Шопенгауэру является вопрос: может ли представить языческая древность что-либо равное по жестокости и бесчеловечности крестовым походам, религиозным войнам, аутодафе, резне герцога Альбы, кострам Женева и Рима, истреблению туземцев Америки и Австралии. И весь мир живущих представлялся ему отвратительным хаосом, безначалием, в котором нет места порядку... Такие мрачные мысли и тоскливые чувства весьма часто посещали молодого, изящного, образованного философа и преследовали его на светских праздниках и в шумном веселье балов. В то время, когда все вальсировали, он приглашал даму, усаживал ее рядом с собою и беседовал о причинах, следствиях и значении явлений, заставляя часто соглашаться с его любимым выводом, что все идет к худшему в этом самом отвратительном из всех миров.

Подобное подготвление Шопенгауэра к пессимизму представляется слишком бледным подражанием призыванию Будды, так ярко изображенному в его поэтической легенде. Сакья Муни, сын царя, воспитанный во дворце, в полном отчуждении от внешнего мира и людей, в своей жизни встречал только величественные и веселые образы. При первом же выходе из дворца в мир живой действительности, он встречает последовательно: дряхлого старика, покрытого язвами страдальца и ужасное лицо мертвеца. Немедленно потребовав объяснения этих печальных явлений человеческого существования на земле, он погрузился в размышления о всеобщей иллюзии всех людей и тотчас же отправился в лес вести жизнь анахорета, и основал религию самоотречения. Шопенгауэр не ушел в лес и не подавал примеров самоотречения; но его философия развилась на этой именно основе — убежденного пессимизма. Ее отличительной чертой служит глубокая антипатия к еврейскому и магометанскому монотеизму. Не придавая разуму первостепенного значения, он считает его чисто физическим явлением, находящимся в близкой и глубокой связи с мозговым веществом, но всегда и везде подчиненным деятельной воле, неустанной творческой силе, бесконечно производящей и видоизменяющей материю. Эта воля,

метафизическая сущность которой недоступна нашему пониманию, выражается в целом мире явлений, находящихся в противоречии с нею самою, и производит только страдания и борьбу. Своею невидимой рукой она гонит нас, как стадо, вперед. Ее же, эту волю, мы ощущаем в себе самих, в форме желаний, а, следовательно, и потребностей, порождающих непрерывные страдания, — волю, которая, нисколько не заботясь ни о счастье, ни о несчастье нашем, предоставляет нас всецело игре случая. ...Если принять на веру такие начала, то невольно является желание на первой же странице творений Шопенгауэра надписать знаменитое выражение Данте: «Lasciate ogni speranza voi che' entrate». К такому именно заключению пришли некоторые из его последователей, как, например, Банзен, возводя, в преувеличении, принципы его пессимизма до «бесповоротного отчаяния в жизни», по воззрениям которых жизнь является безысходным адом, а знание — толчением на одном и том же месте в кругу бесконечных противоречий³. Но пессимизм Шопенгауэра счастливо обошел этот нелепый вывод, а автор его, для личной своей жизни, сумел извлечь из своего учения философию счастья.

II

Нет никаких, однако, оснований отрицать, что пессимизм, усвоенный в малых дозах, как опасное лекарство, имеет свойство развивать и укреплять в нас мужественную твердость духа. Такого рода пессимизм устанавливает необходимость рассчитывать исключительно на свои силы и собственное достоинство, поддерживает постоянно нашу бдительность и дает нам в мире, переполненном опасностями, спасительные предостережения. Представляя злополучие нормальным порядком вещей, он побуждает нас, если нам удастся избежать великих бедствий, глубже и полнее наслаждаться малыми благами жизни, тем более, что они, при этом условии являются нам исключительными. «Ибо, как говорит Бэкон, не больше ли удовольствия доставляет нам рисунок, изображающий светлый, веселый пейзаж на мрачном, торжественном фоне, чем раздирающая душу картина на фоне нежных и светлых тонов?»

Такова сущность философии старика Сенеки, остроумно выраженная Скапэном: «во всяком деле следует предусмотреть все возможные неприятные случайности, какие только могут встретиться... и все неприятное, что прошло мимо, следует приписать заботам о нас доброй судьбы». То же самое должно сказать и по отношению философии Аристотеля, у которого Шопенгауэр позаимствовал основное положение житейской мудрости: «Для того, чтобы не быть слишком несчастным, не следует желать быть слишком счастливым». И действительно, всякое счастье, по своей сущности, явление отрицательное и состоит, главнейшим образом, в устранении страданий (вернее, неприятных ощущений). По его мнению, вместо стремления к недостижимому счастью, всякое действие и каждая мысль человека прежде всего должны быть направлены на борьбу и изобретение средств для устранения бесчисленных, окружающих его опасностей, тем более, что несложное учение о счастье требует только умения «выковать себе золотую кирасу для защиты от ядовитых стрел жизненного зла». Каждый день, прошедший спокойно, должен считаться праздничным днем победы; но на этом успокаиваться не следует, и тем более необходимы меры предосторожности против следующего дня, что само по себе это внешнее спокойствие должно возбуждать подозрение и опасение готовящегося в тиши заговора против вашей безопасности. Отсюда бесконечные, мелочные предосторожности, которыми окружал себя знаменитый философ, и подробные описания которых так часто встречаются в его корреспонденциях и у его биографов. Каждое свое действие он предварительно подвергал многостороннему и подробному обсуждению и пытался уяснить себе ближайшие и отдаленнейшие его последствия. При выборе, например, места жительства, он прежде всего собирал подробные сведения о зубных врачах избираемой местности, принимая во внимание полную некомпетентность и бесполезность Аристотеля, Сенеки и других философов в сфере

³ Гартман, «Школа Шопенгауэра».

медицинских вопросов.

По отношению к близким, Шопенгауэр принимал такие же меры, какие принимаются путешественниками среди наполненной разбойническими шайками страны, или врачами во время страшных эпидемий — холеры и чумы — держал при себе всегда заряженное оружие и подносил к губам только свой собственный, никем не употребляемый стакан. Он не доверял близким людям, друзьям, подозревал даже в кознях своего издателя. Конечно, нельзя не придавать значения чувству чести каждого человека, но следует остерегаться и избегать проявлений этого чувства в серьезных случаях. Только благодаря своей энергии и такому направлению ума, философ спас свое состояние, чуть было не погибшее вследствие разорения банкира, у которого находилась, в виде вклада, значительная сумма денег Шопенгауэра. Он признавал значение денег только ввиду обеспечиваемой ими личной независимости, и при этом утверждал, что полная твердость и необходимое спокойствие духа возможны только под условием ненарушимой уверенности, что каждый наступающий день принадлежит всецело нам.

Его замечания и правила по отношению к обществу и людям как нельзя лучше свидетельствуют о несообщительности его нрава:

«Заботливо скрывайте свое превосходство над окружающими вас людьми, из опасения нажать себе между ними врагов».

Лучшее средство производить благоприятное впечатление — всегда предоставлять собеседнику говорить о самом себе. Если беседа истощается, поддерживайте ее вопросами в том же направлении, «заводите машину», а сами думайте о другом, более вас интересующем. Беседа, вне личных интересов и злословия, обыкновенно вращается на обмене общих мест, вполне удовлетворяющем современных собеседников.

Никогда не следует возражать против мнения, поражающего вас глубиной своей глупости, а тем более стремиться к восстановлению истины в таком случае.

Спокойная и сдержанная ирония должна быть естественным и обыкновенным тоном вашей речи.

Следует избегать интимного сближения с людьми, из опасения попасть в ловушку предателя, высказываться как можно менее, быть застегнутым постоянно на все пуговицы, и держать людей на приличной от себя дистанции.

Уплачивайте долг законам приличия и общественности шапочным поклоном — не более.

Нисколько поэтому не удивительно, что Шопенгауэр для изучения житейской мудрости — осторожно вести себя в обществе — мудрости, возведенной в теорию и систему, обратился к величайшим представителям искусства обращаться с людьми, к отцам иезуитам. Хотя правила и приемы последних были слишком далеки от древней искренней учтивости, тем не менее он с большою заботливостью перевел труд отца Вальтазара Грациана: *Oraculo, manual y arte de prudencia*, в уверенности, что не следует пренебрегать никаким советом, когда дело идет об искусстве жить с людьми, с этими вздорными животными, которых необходимо всегда ласкать и льстить улыбкой, жестами...

Мизантропия Шопенгауэра не исходит, как у Альцеста, из оскорбленного в глубине своей чувства или же жестоко поправленного идеала. Она не находит себе объяснения даже в следующем афоризме: «Кто в тридцать лет не мизантроп, тот никогда не любил людей». Роду человеческому Шопенгауэр решительно предпочитает собачью породу. И действительно, его пессимистическая мораль имеет в своем основании чувство сострадания, скорее даже жалости: он старается облегчить встречаемые им страдания, он завещал бы все свое имущество благотворительным учреждениям; но он ни на минуту не теряет из виду людской злобы, слишком глубокой и неизлечимой. Если иногда он и указывает с удовольствием на неизмеримое пространство между умственным состоянием представителей человеческого рода, то с другой стороны он проникается убеждением, что нравственные недостатки и пороки уничтожают расстояние и нивелируют всех людей без исключения.

Здоровье, физический и умственный отдых — эти высшие блага человека — он старается всеми силами предохранить от нападения. Чем более у нас потребностей, — рассуждал он, — тем чаще мы сталкиваемся с затруднениями и неприятностями всякого рода. Поэтому, расположив всю свою жизнь наирегулярнейшим образом, он весьма редко нарушал ее монотонность. Его привычки и все отправления приобрели вид механичности. Ежедневно, во всякую погоду, на улицах Франкфурта являлся прохожий среднего роста, с светло-голубыми, чрезмерно-удаленными друг от друга глазами, рыжеватыми баками, с сардонической улыбкой на тонких губах; он был всегда одет безукоризненно, с заботливостью актера, выходящего на сцену: хотя и не по летам щеголевато, с большею смарагдовой булавкой на груди. Он скорее бежал, чем шел, точно торопясь выйти за город, направлялся по первой попавшейся на глаза тропинке и вздыхал свободно среди безлюдных полей, следя внимательно за прыжками своей любимой собаки. Часто он внезапно останавливался, яростно бил палкой по земле, ворчал «себе под нос» несколько несвязных слов, пронзительным свистом звал своего компаньона и с тою же поспешностью возвращался домой. Счастье, мир и покой невозможны для человека, стремящегося в мир живой действительности, всегда беспокойной, обманчивой, терзающей душу бесплодными желаниями и ненасытными требованиями. Возможность избежать этого мира, хотя бы на несколько часов ежедневно представляется существеннейшим условием мира и свободы. И на странице своего классического труда Шопенгауэр указывает верное убежище покоя и наслаждения — область искусства, созерцание прекрасного. «Жизнь, — говорит он, — никогда не бывает прекрасна; прекрасны только ее изображения». Даже самые печальные факты действительности в этом очарованном зеркале облекаются в стройные, светлые формы и получают особую привлекательность. Время лучших и возвышеннейших впечатлений проведено им в дрезденских галереях и в музеях Италии. Высшим божественным искусством он признавал музыку «божественный цветок, насажденный рукою сострадательного ангела в этой юдоли ее плача и скрежета зубов». Симфонии Бетховена он слушал всегда с глубоким вниманием, закрыв глаза с первого такта и до последнего аккорда. Он отчетливо различал в них, в этих чудных звуках, «все страсти, все движения души человеческой: радость, горе, печаль, любовь, ненависть, страх, ужас, надежду, с бесконечными оттенками, точно в мире небесных духов». Тотчас по окончании концерта, он уходил из залы домой, с целью как можно дольше сохранить впечатление, произведенное этими всеочищающими гармониями. — Избегая бесед с обыкновенными людьми, наполняющими мир своими скудными мыслями и банальными разговорами, он жил постоянными сношениями с великими, гениальными умами всех стран и времен. Исходя из мысли, что хорошие книги так же редки, как и гениальные умы, Шопенгауэр утверждал, что нет основания предпочитать новых авторов древним только потому, что последние не были почему-либо прочитаны своевременно. В его библиотеке, рядом с новейшими научными произведениями, находились священные книги индусов, мистические сочинения средних веков и произведения поэтические. В литературе каждого народа у него были свои любимые авторы. Во французской, например, Рабле, Вольтер, Гельвеций. «Читайте Гельвеция, — писал он своему ученику Фрауэнштедту: — Господь Бог простит вам, ибо и он его читает». Ежедневно вечером он совершал свой обряд в Упнегате. «Однажды, — рассказывает Фрауэнштедт, — он показал мне книжку Иоганнеса Секундуса о поцелуе и затем повел продолжительное рассуждение о различных видах поцелуев».

Шопенгауэр со страстью предавался изучению мысли и существования человека, стремясь проникнуть до сокровеннейших источников их. «Жизнь моя, — писал он в 1816 году из Дрездена, — это лекарственное питье, одновременно и сладкое, и горькое... Это непрерывное приобретение знаний, результат которых всегда бывает печальным и подавляющим; но проникновение в область истины всегда наполняет мою душу радостным чувством победы над мраком, и странным образом смешивает горечь со сладостью».

Чтобы понять это чувство наслаждения, являющееся результатом истинного знания, следует побольше остановиться и глубже взглянуть в значение небольшой картины

Рембрандта, находящейся в глубине картинной галереи Лувра — «Философ в глубоком размышлении». По размерам полотно немногим больше кисти человеческой руки, но живо и сильно говорит о бесконечности. В сводчатой зале, с большими муравленными окнами, залитой теплым мерцанием наступающих сумерек, сидит старик, лоб которого освещен мягким светом догорающего дня. Тишина и полное спокойствие царят вокруг него. Старый, смиренный Фауст, философ погружен в глубокое размышление над раскрытой перед ним книгой; «В начале было слово... Нет! в начале была сила... в начале было движение»...

Это великое чувство гармонии, мира и спокойствия, которым дышит мастерское произведение голландского художника и ощущение которого получается от одной страницы Этики, доступно стало Шопенгауэру с первых дней его юности. В 1813 году, в то время, когда европейские армии истребляли и уничтожали друг друга, Шопенгауэр, в тиши уединения маленького городка, Рудольфштадта, среди живописнейших долин, во втором этаже гостиницы Шевалье, писал свой знаменитый трактат (О четвероюм корне закона достаточного основания) и тогда же вырезал в амбразуре окна надпись, заботливо сохраненную его восторженными учениками:

Arth. Schopenhauer majorem anni 1813 partem in hoc conclave degit.
Landatur domus longos quae prospicit agros.

Во Франкфурте, в рабочем кабинете, нам рисуют его таким же, как и Сент Жерома д' Альбера Дюреро в его уединенной келье. Он размышляет и пишет между бюстом Канта и позолоченной статуей Будды; собачка Атма лежит у его ног, растянувшись на шкуре белого медведя.

Шопенгауэр рано достиг цели всей своей жизни: на 29 году он окончил большое сочинение «Мир, как воля и представление», в Дрездене, в период времени с 1814—1818 г., появившееся в печати только в 1819 году. Замечательное исключение из общего правила, по которому великое произведение должно быть плодом второй половины жизни зрелого возраста. Главное отличие его труда заключается в форме, в блестящем изложении, в стиле. Менее всего этот стиль напоминает Кантовский, требующий привычки читать между строк и ловить мысль, запутанную в тине гипотез и случайных выводов, или стиль Спинозы — мертвый, как язык, на котором он писал. Вообще, произведения Шопенгауэра глубоки по содержанию и широки по мысли, а отдельные части и детали отличаются мастерской отделкой и законченностью. Их можно сравнить с зеркалом, в котором отражается мир в самых мрачных красках в то время как рамка этого зеркала сияет и блещет тысячами огней и световых переливов. Следовательно, есть еще более высокое наслаждение, чем стремление к познанию горькой, печальной истины: умение передать, выразить эту истину посредством ясного, мастерского изложения, в слове или письме. Если, с одной стороны, нет ничего более удручающего душу, как сознание нашей посредственности, и если, разорвав покрывало иллюзии и самолюбия, она появилась бы пред нами во всеразрушающем оружии, как голова Горгоны, то, с другой, нет источника наслаждений, более неисчерпаемого, как знание и великий талант. «Заслуга, замечает Монтестье, служит во всех случаях великим утешением». Казалось бы, что можно навсегда освободиться от пессимизма, определив и выразив его с такою поражающей ясностью и полнотой.

Чувство собственного достоинства и значения, сознание выполненного великого труда, огромный запас познаний, глубокая уверенность в том, что ложь никогда не коснулась уст ваших, а правда высказывалась всегда прямо, без оговорок и умолчаний, что может быть выше, что может дать большую сумму чистых наслаждений? Есть личности, которые, создав великое произведение, не придают никакого значения своей подписи под ним, счастливые возможностью придать истине, которой они служили, ее истинный, универсальный, не личный характер. Шопенгауэр, однако, этим не мог удовлетвориться. Он презирал людей, считая их двуногими животными. Но этот спесивец не мог обойтись без одобрений, удивления и признания его заслуг презираемыми им двуногими. Какого же было его

изумление, когда он увидел свою книгу заброшенную в пыли катакомб книжного магазина!

Чтобы как-нибудь объяснить это гробовое молчание, он выдумал и свалил всю вину на профессоров философии, которые будто бы в ночном тайном собрании поклялись никогда даже не произносить его имени. Под влиянием гнева и ярости, он, как лев в клетке, с ревом потрясал решетку своей тюрьмы. Но непоборимая вера в свой гений значительно ослабляла его гнев. Он обыкновенно успокаивался на непреложной истине, что неуверенное в себе и вечно мечущееся в ожидании одобрений и похвал тщеславие отличается способностью обивать пороги у дверей; тогда как истинная гордость, твердо уверенная в своих достоинствах, довольствуется уединением и тишиной. Так проходили года. Он ждал, в полной уверенности, что час возмездия придет.

III

Он не обманулся в своих ожиданиях. В 1844 году было получено письмо, подписанное неизвестным ему именем Беккера. В самых лестных выражениях автор письма сообщал ему, что не находя у Канта ответов на мучившие его вопросы, он пришел уже к заключению о бесплодности труда в области философии, как случайно натолкнулся на «Две основные задачи Этики». Принявшись немедленно за изучение всего труда, он просит любезного разрешения обратиться к автору его за разъяснением некоторых сомнений, происходивших, как он полагает, от его слабой подготовки.

Чтобы определить достоинство не получившего известности произведения, решить и признать имя автора, не занесенное на страницы какого бы то ни было словаря и не упомянутое ни одним из журналов, необходимо обладать недюжинными способностями ума и острым критическим чутьем. Судья по профессии, Беккер, представлял из себя небольшую, худенькую фигурку, не много сгорбленную, с тонкими чертами лица, веселого характера — *eine fröhliche rheinische Natur* — с природным юмором жителя берегов Рейна, отдавшегося пессимизму под влиянием того стремления к контрастам, которое возбуждает наше увлечение идеями, наиболее противоречащими нашему внутреннему строю, характеру. Вместо исповедания веры пессимизма, весельчак Ренан послал Шопенгауэру эти полные скорби стихи Генриха Гейне:

«Глаза мои проникли в строй всего мира; я слишком долго смотрел и вглядывался в глубь вещей, и вечные мучения наполнили мое сердце. Я гляжу сквозь грубую каменную кору людских жилищ и их сердец, но вижу только ложь, обман и нищету; на их лицах я читаю мысли, много скверных мыслей. В стыдливом румянце девственницы я вижу страстную тень тайных желаний. На прекрасной голове юного энтузиаста мне видна куафюра с погремушками. В этой земной юдоли я встречаю только кривляющиеся фигуры, болезненные тени, так что трудно решить, где находимся: в доме умалишенных, или в университетском лазарете».

При первом же знакомстве с произведениями Шопенгауэра мы видим, что, согласно точке отправления своей морали, он противопоставляет горячей жажде жизни, личной борьбе, страстям, скупости, гневу, зависти, невоздержному стремлению к наслаждениям, порокам, злобе, наконец, самоубийству — окончательному разрыву между желанием жить и волей, — самоотвержение, покорность провидению, торжество над миром, аскетизм, полное самоотречение, уничтожение желаний и даже воли, как плод знания, и последнее слово высокой мудрости. Но он не запечатлел своего учения личным примером этого уничтожения воли в аскетизме, поэтому и заслуживает упрека. Беккер пытается защитить его против такого обвинения: «Не вы ли сами, учитель, утверждали, что нет никакой необходимости святому быть непременно философом, точно так же, как не обязательно философу быть святым. Не вы ли признали, что аскетизм есть явление благодати? Вы оцениваете значение борьбы по тем страшным усилиям, которых стоила жертва; но для погруженных еще в мир желаний и хотений аскетизм — ничтожество. Вы даже считаете его лишним, ненужным. Ибо справедливость и любовь людей для тех, кто испытывает их на себе, заменяют собою

власяницу и вечное воздержание. Ваше учение, наконец, ограничивается констатированием существующего, без тщеславного стремления предписывать правила того, что и как должно быть. Тем не менее, по своим личным качествам, Шопенгауэр стоит заметно ниже своих предшественников-философов, например, Канта и Спинозы. Кант резко отличается характером и непреклонной волей с замечательным самообладанием, Спиноза соединял редкую сдержанность в минуты радости и печали, особенное радушие и свободу в беседе, даже с презренными людьми, стоя гораздо выше соблазнов богатства и почестей, без аскетизма, но, так сказать, и без потребностей, посвятив всю свою жизнь науке и бескорыстнейшему стремлению к истине, Спиноза — настоящий мудрец этики⁴. Между тем, как доктрина Шопенгауэра, в ее возвышенной части, была глубоко прочувствована, обдумана, но никогда не применялась им к действительной жизни, то есть не была пережита.

Одно место в этой переписке особенное внимание возбуждает среди историков философии. Вопрос касается кантовского вывода об идеальности времени и пространства. Капитальнейшее открытие основ и границ нашего знания, по которым ум человеческий может совершать поступательное движение не иначе, как опираясь на два костыля — время и пространство — под условием провалиться, по примеру Фазтона, в том случае, если бы он пожелал совершить свободный полет в сфере чистого абсолюта; это открытие, заключившее метафизику в пределы непознаваемого и увековечившее имя Канта, указано Шопенгауэру Беккером в одном месте сочинения Мопертюи (1752) «Письма уроженца Сен-Мало», месте, так опрометчиво, хотя и остроумно осмеянном Вольтером в его едкой сатире: Доктор Акакиа. Кант называет Лейбница в числе своих предшественников; но, к чести французского ума, к ним следовало бы присоединить Мопертюи.

Оба корреспондента не всегда, однако, витают в этих высших областях. Как человек, в высшей степени осторожный, Шопенгауэр просит совета у своего ученика, судьи Беккера, относительно своего судебного процесса, а затем посылает ему предисловие к своей Этике, с просьбой уведомить, «не подвергнется ли он судебному преследованию по поводу вполне заслуженных щелчков и ударов, которыми он щедро наделил датскую академию». Он удивляется и негодует, что Беккер, так обстоятельно знакомый с его философией, как со своим кодексом, свободно излагающий его теории в тесном кружке друзей в Майнце, упорно отказывается сделать их достоянием общества. «Вы, вероятно, желаете умереть в неизвестности, — спрашивает он его язвительно: — и хотите прослыть немим апостолом?»

Роль евангельского апостола была выполнена с редким усердием Фрауэнштедтом, как о том свидетельствует длинная корреспонденция, помещенная во второй части *Memorabilien*. Здесь мы можем проследить прогрессивное развитие доктрины, в особенности в течение последних шести лет жизни Шопенгауэра, 1854—1860, времени зарождения и развития догмы. «Появление каждой новой значительной мысли встречается всегда холодно и неприязненно. Мало помалу вокруг нее образуется небольшая группа совершенно различных между собою людей, но согласно преследующих единственную цель: быть первыми покровителями и защитниками этой идеи». Шопенгауэр вводит своих новых апостолов одних к другим: «я люблю очень, когда они посещают друг друга; это весьма серьезно и грандиозно! Если двое соединятся во имя мое, я всегда посреди их». Своих первых учеников он впрягает в телегу своей известности, назначает каждому из них имя и обязанность.

Между ними находились: «главный евангелист, апостол Иоанн, *doctor indefatigabilis*, труба второго пришествия, наконец, младший апостол, доктор Асгер», главной обязанностью которого было собирание и сообщение учителю всего, что печаталось по поводу его, как в Германии, так и за границей, и который не долго удовлетворял своему назначению. Между его учениками многие добродушные старички завирались нередко, другие ничего не понимали, но и те, и другие своими голосами распространяли известность учителя».

Философские вопросы занимают небольшое место в переписке Шопенгауэра с

⁴ Ибервег, «История Философии» стр. 84.

Фрауэнштедтом. Вообще, учитель устраняет всякий повод к прениям по поводу этих вопросов. Он не особенно любит, чтобы из его сочинений выдергивали лучшие места, как из торта миндалина, не заботясь нисколько о тесте, которое их связывает. Когда же Фрауэнштедт является к нему, как знаменитый Вагнер, в ночном колпаке, с дымящимся ночником в руке:

Zwar weiss ich viel doch möcht'ich alles wissen, с просьбою новых объяснений относительно вещей самих в себе и с вопросом о новых выводах о господине абсолюте и девице душе, то раздраженный учитель останавливает ученика категорическим ответом: «моя философия не касается области Wolkenkuckheim, она имеет дело с миром земным — областью живой действительности. Другими словами — она имманентна, а не трансцендентальна. Она объясняет весь окружающий нас мир предметов и явлений как иероглифы, ключ к которым мною найден в воле-хотении. Она указывает сцепление всех частей. Она устанавливает и определяет значение явлений и вещей самих в себе, но только со стороны их взаимных между собою отношений. Помимо этого, она признает мир чисто умственным, мозговым явлением. Но, что касается вещей самих в себе, вне этих отношений, то этого вопроса я никогда даже не касался, по той простой причине, что сам ничего об этом не знаю... Затем, желаю вам счастливого пути в заоблачные пространства.

С какой живостью он обрисовывает себя в своих письмах; кажется, будто слышишь даже его голос! Он не старается скрыть ни своей досады, ни потребности в чувствах привязанности, ни жажды известности, ни волнующего его стремления к славе. Не удовлетворяясь ходом мировых событий, Шопенгауэр, тем не менее, в каждой строчке прорывается, не будучи в состоянии скрыть чувство справедливого самодовольства. Следовательно, наилучшее противоядие против пессимизма — полное довольство самим собой.

«При внимательном рассматривании одного из моих фотографических снимков, мне пришла мысль о сходстве моем с Талейраном, которого я много раз встречал в 1808 году. Несколько времени спустя, я сидел за столом около одного старого англичанина; обменявшись со мною несколькими словами, он заметил мне вполголоса: «Сказать ли вам, на кого вы похожи? — На Талейрана, с которым в юношеские годы я часто встречался и беседовал...» Варнкениг тоже не раз высказывал мне истинные замечания относительно моей внешности, отличающейся, как мне кажется, импозантностью».

По отношению к современникам, его письма переполнены проявлениями презрения. За исключением Канта и Гете, в Германии не было известного имени, в которое он не бросал бы грязью. Он собрал полный словарь бранных выражений, в особенности по адресу материалистов. Самыми нежными из таких эпитетов были: клистирная команда, свиные подлипалы. Здесь уже нет места вопросам о правилах вежливости испанского иезуита Бальтазара Грациана. Немецкая грубость не знает границ. Он признавал учение материалистов «непозволительным, лживым, нелепым, абсурдным, исчадием невежества, лени, трубки, сигары и последствием политической мании, способным отравить одновременно и ум, и сердце». Ему представлялось, чьи карманы материалистов переполнены «красными лохмотьями их скоморошеской республики» и потому его радовали все репрессивные меры против них. Он не лучше обходился и с философами других направлений. В особенности вызывает его саркастические нападки одно имя, имя узурпатора, бывшего его солнца, Гегеля, «этой рожи пивного торговца, умственного Калибана». Он советует воспитателям преподавать ученикам философию Гегеля с целью как можно раньше оскотинить их и более легким способом лишить родового наследия. Как он торжествовал! Теперь гегелианцы обращаются толпами, что дало ему возможность отбросить в тень ужасного противника, которого раньше он хотел воскресить, чтобы сделать свидетелем своих блестящих успехов.

Произведения Шопенгауэра вызвали оживленную и страстную полемику. Он одинаково приспособлялся и к похвале, и к порицанию. Журналы и газеты, по его мнению, и в том, и в другом случае, били в набат; здесь важно не мнение журналистов, а извлечение

вашего имени из-под спуда молчания. Когда он узнавал, что какой-нибудь пастор, или капуцин, мечет против него громы с церковной кафедры, то улыбался самодовольно: «они придают моим произведениям значение запрещенного плода».

На совет Фрауэнштедта — просить в награду ордена или добиться кресла в академии, он отвечал: «Благодарю за предложение почетных отличий... Будьте покойны; заслуга и знаки ее отличия не так легко соединяются в одном лице, как это вам кажется. Невозможно служить в одно и то же время истине и мирской суете. Поверьте, что если бы кресты стали падать дождем, то и тогда ни один из них не упал бы на мою грудь». Берлинская академия, — где еще царит память Лейбница, отца оптимизма, изобретателя монад, предустановленной гармонии и *identitas indiscernibilium*, — игнорировала тогда еще малоизвестного Шопенгауэра; но потом, когда он стал знаменитостью, пожелала, вероятно, пользуясь его именем, поднять поблекший престиж этого заведения.

Но из какой академии вышли произведения Корреджио, Шекспира, Моцарта?.. После этого, по меньшей мере, странным представляется желание Шопенгауэра увековечить одно из своих произведений надписью: член норвежской королевской академии.

Его известность росла с быстротою пожара. Со всех сторон являлись ученики, из Вены, Лондона, России, Америки, люди большого света, негоцианты, землевладельцы, военные, молодые дамы благородного происхождения, которые посылали ему нежные послания и делали его предметом своих поэтических излияний.

«Когда я подумаю, — писал он Фрауэнштедту, — какое глубокое впечатление производит моя философия на профанов, деловых людей и даже женщин, мне приходят в голову, по поводу ее значения и роли в 1900 году, мысли, которых я не могу сообщить вам, но которые вы можете понять сами». Набожные люди зачитывались им, как библией, старики умирали с его именем на устах. Художники оспаривали друг у друга часть воспроизведения его лица для потомства. Многие испрашивали у него аудиенции: «На днях ко мне явился известный доктор К. Он вошел, глядя на меня так пристально, что я ощутил чувство страха, — и воскликнул: «Я хочу вас видеть, мне необходимо взглянуть на вас, я за этим только и пришел!» Он дошел до такой степени энтузиазма, что стал уверять меня, будто моя философия возвратила ему жизнь. Как это мило! — меня посетил господин Б. Прощаясь со мною, он поцеловал мою руку; я чуть не вскрикнул от ужаса. — Господин Р., уезжая, тоже поцеловал мою руку. К этим церемониям я никак не могу привыкнуть, хотя они, без сомнения, составляют обыкновенную дань моему царскому достоинству».

Часы, проведенные в обществе Шопенгауэра, считались многими наилучшими в жизни. Студенты, с мешком на плечах, шли на поклонение в Франкфурт, как некогда в Веймар. Все спешили занять место за столом в гостинице, которую он посещал. Глаза всех устремлялись с любопытством на него. Он говорил с оживлением, громко смеясь. Его слушали издали, с удовольствием наблюдая, как он ел. Толпа ведь интересуется более всего не самой истиной, а тем, кто ее излагает, то есть, чьими устами она говорит.

В день рождения его забрасывали живыми цветами, дорогими подарками, приветствиями и маленькими стишками. Он благодарил и восхищался, забывая, что «в этой юдоли скрежета зубов и печали, вместо ликования в день рождения, следует оплакивать его, как день печали и вздыхания».

Своим ученикам он восхвалял старость, — возраст, освобожденный от тех терзаний любви, которые омрачают наши молодые годы и покрывают их туманом грусти. Он употреблял все усилия для предохранения себя от великой опасности.

Feminae cave! врезалось в его мозгу огненными буквами. С самой ранней юности, преждевременное развитие созерцательности наводило его на мысль: «На искушения чувственности следует смотреть с улыбкой, как на тайные сети, расставляемые злым гением твоему спокойствию душевному».

Указывая на известную надпись на домике в Помпее: «*Hinc habitat felicitas*», он замечает: «Насколько она привлекательна для входящего, настолько же иронична по отношению к выходящему оттуда!» Он не был так прост, но это не помешало ему сделаться

жертвою своего темперамента. Он стремился к аскетизму, как св. Бруно или св. Франсуа д'Ассиз, но в то же время обладал темпераментом Бриггама Юнга и Августа Лефорта, так что никогда философ не стрелял более холостыми зарядами по системе, которая менее всего стремилась к уничтожению мира, при посредстве добровольной девственности. Однажды, в Веймаре, еще юношей, он был охвачен таким порывом чувств при виде одной актрисы, старше его на 10 лет; что сейчас же объявил своей матери о желании жениться на ней, даже и в том случае, если бы он встретил ее бьющую бульжиком на дороге. Любовная история в Дрездене привела его в большое затруднение. В Италии, не довольствуясь созерцанием прекрасного, он успел поссориться с представительницами прекрасного пола. Он встретил почти радостно старость, освободившую его от такого поучительного, но прискорбного, тяжелого труда. С этого времени к женщинам, этим лабораториям пресыщения и раздора, он стал почти равнодушен; он считал их всех, без исключения, уродами. К чему, в самом деле, служит их красота? Немощной иллюзии наших желаний: «Вы говорите, мой достойный друг, — писал он Фрауэнштедту, — что совершенная женщина гораздо красивее совершенного мужчины. Вы раскрываете свой инстинкт с замечательной наивностью; истинные ценители красоты осмеют вас. Эти вещи имеют одинаковое значение как в роде человеческом, так и в породах львов, оленей, павлинов, фазанов. и т. д. Когда вы достигнете моего возраста, вы тогда узнаете, какое впечатление производят эти маленькие личности...»

Шопенгауэр не питался иллюзиями и по отношению к славе: «Слава — это существование в головах других людей, то есть в самом ничтожном театре, а счастье, которое она дает, не более, как химера; самое разношерстное общество собирается в ее храме: солдаты, министры, шарлатаны, гаеры, миллионеры... и все эти господа пользуются гораздо более прочувствованным уважением, чем философ, пользующийся им в тесном кругу немногих, ибо все остальные люди питают к нему только уважение на слово».

Но как эта химера его нежила, ласкала! А сквозь эти причуды, сколько пробивалось лучей истинной радости в его письмах! Он ловит себя на рифмовании куплетика песни: «куда кривая вывезет!» На темном фоне философии Шопенгауэра, веселость его писем выделяется, как Allegretto менуэта, после похоронного марша.

Истомленный, разбитый ударом злой судьбы, неисправимый Панглос затвердил свое, что все идет к лучшему в прекраснейшем из всех миров. Хотя, в глубине души, он не был в этом убежден; но, раз высказав такое положение, считал себя обязанным поддерживать его всегда. Точно также Шопенгауэр, анти-Панглос, напевает свой вечный припев о предпочтении небытия бытию; но сладкое томление жизнью никогда не теряет для него своей могущественной привлекательности. Во время празднования его 67 дня рождения, когда он удостоился шумных оваций, Беккер, поздравляя его с бодрой старостью, предсказывал еще много лет жизни; но старый философ заметил: «Святой Упанишад говорит в двух местах: «Сто лет — время жизни человеческой, а Флуранс исчисляет тот же период времени. Вот, что утешительно!» В письме к Фрауэнштедту он выражается еще определеннее: «Сердечно благодарю вас, старый апостол, за поздравительное письмо. На ваш любезный вопрос спешу ответом, что не чувствуя еще присутствия Сатурнового свинца, я бегаю, как борзой; здоровье мое в самом лучшем состоянии, так что я ежедневно играю на флейте. Прошедшим летом я купался в Майне и плавал отлично до 19 сентября; слабости не чувствую, а глаза мои также здоровы, как и во дни безвозвратно минувшего студенчества».

Шопенгауэр говорил, что величайшим для него утешением будет его крещение, и что ожидают только его смерти, чтобы причислить его к лику святых. Но он вовсе не призывал этой смерти «самой страшной из всех ужасов», *der schrecklichste der Schrecken*; когда же она является внезапно, неожиданная, Шопенгауэр, в момент, когда ему следует исчезнуть за кулисами жизни, спотыкается, опьяненный шумом аплодисментов, доходящим до него с разных сторон.

Сравните, после этого, судьбу Шопенгауэра с судьбою тех поэтов, которые так блестяще воспели «мировую скорбь»: Шатобриан прозевал свою жизнь; Байрон встретил смерть в рядах солдат, сражаясь за свободу Греции; Леопарди умер под неаполитанским

небом от чахотки; Гейне, слепой, истерзанный Лазарь, был брошен на постель пыток и мучений,— смех которого раздирает душу и терзает сердце сильнее рыданий — и тогда судите, до какой степени старость знаменитого философа была исполнена довольства и счастья.